Айрин Н. Гир

До последнего вдоха



Айверин

книга вторая

Айрин Н. Гир

До последнего вздоха

«Автор»
2026

Гир А.

До последнего вздоха / А. Гир — «Автор», 2026

Два года прошло с той ночи, когда Мирэль потеряла Ило. Девочка, которая когда-то лечила светом, научилась им резать. Теперь она — лёд и сталь, последняя Хранительница Валдара, и скаррады идут за ней через болота и перевалы. Им нужна только она. Живой. Зачем — не знает никто.Ей придётся выбрать: остаться с теми, кого она любит, — или уйти одной туда, откуда не возвращаются.Вторая книга цикла «Айверин» — фэнтези о верности, цене света и любви, которая не умеет приходить вовремя.

© Гир А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1 10
Глава 2 25
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Айрин Н. Гир
До последнего вздоха

Пролог
Особенный пленный

Пленный открыл глаза и не сразу понял, открыл ли.

В Нархате это всегда было трудно. Здешняя темнота не походила на ту, что он знал раньше, — ночную, домашнюю, кончающуюся рассветом. Она была густой и тяжёлой, как вода на дне колодца, и пила свет, как сухой песок пьёт воду. Факел у решётки горел — пленный видел пламя, рыжий язычок на чёрном древке, — но ничего не освещал. Огонь был. Света от него не было. Двадцать два года пленный смотрел на этот факел и так и не привык.

Он висел на цепях у чёрной стены. Стена была гладкой, будто оплавленной, и холод от неё шёл не снаружи, а изнутри, как от мертвеца. Весь Нархат был из такого камня — стены, полы, своды, и само небо, казалось, вытесали из него же. Когда-то маленький осколок этого камня принесли в белый зал на горе и вложили в самое сердце света. Пленный помнил ту ночь. Он помнил её каждую ночь.

Он начал считать.

Вдох — сколько тепла уходит. Выдох — сколько остаётся. Так его учили, когда он был мальчишкой, и так он учил других — давно, в другой жизни, в зале под западной башней, где на стенах висели золотые щиты. Вдох. Выдох. Тепла оставалось мало. Его всегда оставалось мало. Но оно было — крохотный упрямый уголёк под рёбрами, который не гас двадцать два года.

Здесь, в Нархате, свет не мог покинуть тело: тьма стояла вокруг стеной и не выпускала его наружу. Но и сама тьма не могла войти внутрь. Пока он считал.

Руки у него были скованы над головой, и железо давно вросло в запястья: кожа вокруг кандалов стала серой и твёрдой, как ивовая кора. Ног он почти не чувствовал. Рёбра проступали под лохмотьями так, что их можно было пересчитать, — он иногда и пересчитывал, когда сбивался со счёта дыхания. Седая борода свалялась и доходила до пояса. Левый глаз не открывался уже много лет. Свежая рана на боку, оставленная три дня назад, сочилась сквозь тряпку чем-то тёмным, и каждый вдох отзывался в ней тупой болью.

Он был стар. Он был слаб. Он был жалок — он знал это и не спорил. Он просто считал.

Вокруг, в нишах, в ямах, в железных клетках вдоль бесконечной галереи, были другие пленные. Сотни. Пленный слышал их всегда: стоны, бормотание, кашель, чей-то плач, чьё-то пение без слов — и иногда смех. Смех был самым страшным звуком в Нархате, потому что так смеялись те, кого дравэны уже сломали. Пленные менялись. Одни уходили — с пустыми глазами, на юг, обратно к своим, звать по именам тех, кого любили. На их место пригоняли новых. Валдарцев. Иландрийцев. Солмирцев.

Он оставался.

Скаррады-стражники не знали его имени. Его здесь не знал никто, кроме одного. Скаррады звали его Особенным — растягивая слово, со смешком, как зовут вещь, которую берегут не из жалости, а потому, что она ещё пригодится. «Особенный пленный не ест». «У Особенного гниёт рана». «Особенного не трогать — приказ Первого». Особенному приносили воду, когда он переставал глотать. Особенного лечили, когда раны начинали гнить. Особенного не отдавали дравэнам насовсем — только на время, ровно до того места, за которым человек кончается. Двадцать два года его водили к этому месту и приводили обратно.

Он ни разу не переступил черту. Это было единственное, что у него осталось.

* * *

Факел у решётки вдруг пригнулся, будто от ветра. Ветра в Нархате не бывало.

Галерея замолчала. Сразу, вся — стоны, кашель, пение, — словно кто-то одним движением перерезал сотни глоток. Даже сломанные перестали смеяться. Пленный услышал, как в соседней клетке парень-солмирец, которого пригнали неделю назад, зажал себе рот обеими руками.

Мёртвые стражи у входа в галерею выпрямились. Их было шестеро — поднятые, с белыми глазами и серой кожей, в доспехах тех, кем они были при жизни. Один когда-то носил плащ валдарской гвардии. Теперь он вытянулся у стены, как на смотре, и по его мёртвой щеке поползла трещина — так сильно он стиснул челюсти. Мёртвые тоже боялись.

Потом пришёл холод.

Не тот, что шёл от камня. Другой — живой, голодный. Он тёк по полу галереи впереди шагов, и там, где он проходил, чёрный камень покрывался серым налётом, как пеплом. Плесень на стенах съёживалась и осыпалась. Крыса, метнувшаяся через проход, упала на бок и больше не шевелилась.

Пленный перестал шевелить губами. Но считать не перестал.

Шаргат вошёл в галерею не торопясь.

Он был выше любого скаррада на голову. Чёрные костяные пластины не надевались на него, как доспех, — они росли из него, из плеч, из груди, из хребта, и в швах между ними тускло тлело что-то, похожее на угли под пеплом. Он не носил ни оружия, ни шлема. Ему не нужно было ни то, ни другое.

У всех скаррадов глаза белые, без зрачков. У него глаза были чёрные — чернее камня вокруг, без белка, без дна, — и только в самой глубине каждого тлела белая точка, как звезда, упавшая в колодец. Смотреть в них было нельзя. Пленный знал это двадцать два года. И всё равно каждый раз смотрел.

Сегодня на Шаргате было лицо мальчишки. Молодого валдарского солдата — светловолосого, курносого, с веснушками на переносице и пушком над верхней губой. Наверное, его взяли на перевале этой зимой. Наверное, ещё вчера он был жив. На мальчишеском лице чёрные глаза с белыми искрами смотрелись страшнее, чем смотрелись бы на голом черепе.

— Ты считаешь, — сказал Шаргат.

Голос был мягким, почти ласковым. И говорил он по-валдарски чисто, без единой запинки — не как другие скаррады, что тащат человеческие слова, будто камни. Он говорил так, как говорят у очага. Это было хуже всего.

— Двадцать два года, — продолжил он и присел на корточки перед решёткой, чтобы их лица оказались вровень. — Двадцать два года ты считаешь вдохи. Тебе не надоело, старик?

Пленный молчал. Вдох — сколько уходит. Выдох — сколько остаётся.

— Восемь, — сказал Шаргат и улыбнулся мальчишескими губами. — Ты сейчас на восьми. Вчера был на одиннадцати. Ты слабеешь.

Он не спрашивал. Он знал. Дравэн жил в нём так же, как жили в нём все остальные, и чужие мысли были для него раскрытой книгой. Почти все. Кроме тех, что прятались за счётом.

Говорили, что Шаргат проснулся первым. Ещё за стеной, давным-давно, когда остальные скаррады спали в чёрном камне, как зерно спит в мёрзлой земле. Поэтому его и звали Первым из Пробуждённых, а скаррады — просто Первым, и никогда по имени. Говорили, что это он дотянулся сквозь стену до безликих, оставшихся среди людей. Что это он послал им осколок. Что в нём одном есть всё, что есть в его народе: взгляд, от которого человек сходит с ума, лицо, которое можно снять с кого угодно, ладонь, выпивающая жизнь, и голос, которому подчиняются мёртвые. Говорили, что его нельзя убить.

Пленный видел, как лет десять назад трое пленных Огнекровных сорвали цепи и разом бросились на него здесь, в этой самой галерее. Он не замедлил шага. Он выпил их одного за другим — быстрее, чем огонь в их жилах успел их сжечь, — и пошёл дальше. А за его спиной три серых тела поднялись и побрели за ним следом.

На всём его теле был только один шрам. Тонкая золотая черта поперёк горла. Под чужим лицом её не было видно, но пленный знал, что она там. Единственная рана, которая так и не зажила. Её оставил свет.

Пленный знал, чей.

* * *

— Знаешь, зачем я пришёл? — Шаргат склонил голову набок, по-птичьи, и в этом движении не было ничего человеческого. — Поделиться радостью. Мне не с кем делиться радостью, старик. Мои дети умеют только смеяться. А ты умеешь бояться. Это гораздо интереснее.

Он просунул руку сквозь решётку — медленно, лениво — и коснулся пальцем лба пленного. Палец был холодным, как зимнее железо.

И пленный снова оказался там.

Белый зал на горе. Открытый свод и звёзды над ним. Праздник Света — ночь, когда Хранители отдают камню всё, что у них есть, и до рассвета становятся слабее детей. Серебряная чаша в его руке — он поднял её первым, как подобает старшему, и первым выпил. Вкус вина. Горечь под вином, которую он заметил слишком поздно. Свет, который мигнул. Мигнул ещё раз. Погас.

И крики. Его люди. Его ученики. Те, кого он учил считать вдохи.

— Ты выпил первым, — ласково сказал Шаргат. — Ты всегда всё делал первым. И ничего не успел.

Пленный стиснул зубы. Шесть. Пять. Счёт падал.

Палец убрался.

— Мы почти у цели, — сказал Шаргат буднично, будто сообщал, что к ночи похолодает. — Снег на Высоком перевале сойдёт весной — и перевал падёт. Ваш принц держит его хорошо, признаю. Он забавный. Но у него два легиона, а у меня — все, кого он не успел сжечь до восхода. Ваш король двадцать два года ищет предателя. Он ищет не там. В белом городе у меня друзей больше, чем у него. Валдар — последний. Когда падёт Тэлмира, падёт всё. Все земли от моря до моря. Весь мир, старик. У моих ног.

Он поднялся во весь рост, и факел у решётки снова пригнулся.

— А ты увидишь это. Я об этом позабочусь. Я принесу тебе её стены по камешку.

В соседней клетке парень-солмирец всхлипнул — тихо, сквозь пальцы.

Шаргат повернул голову. Медленно. С интересом.

— Не надо, — сказал пленный. Это было первое слово за много дней, и голос вышел сиплым, как у ворона.

— Надо, — ласково возразил Шаргат. — Ты же любишь смотреть.

Он просунул руку между прутьями соседней клетки и положил ладонь парню на макушку. Просто положил — так кладут руку на голову ребёнку, чтобы успокоить.

Парень перестал всхлипывать. Кожа его посерела — от макушки вниз, по лицу, по шее, — как бумага, которую подносят к огню, только без огня. Волосы стали белыми. Глаза — пустыми. Он не успел закричать. Просто осел у прутьев — лёгкий, сухой, как прошлогодний лист.

Шаргат вынул руку, посмотрел на свои пальцы и довольно пошевелил ими, будто согрелся.

Потом сказал одно слово на лающем наречии.

Парень встал. Неловко, рывками, как кукла на верёвках. Повернулся к Шаргату. В его глазах не было ничего — только белый туман. Он поклонился.

— Завтра пойдёт на юг, — сказал Шаргат. — У него, кажется, мать в белом городе, в лагере для беженцев. Будет звать её по имени под стенами. Она выйдет. Они всегда выходят.

Галерея молчала. Где-то далеко, в самом конце, один из сломанных тихонько засмеялся.

— Посмотри на себя, — сказал Шаргат, снова поворачиваясь к пленному, и в его голосе было что-то похожее на жалость — так жалеют раздавленного жука. — Сильнейший свет своего народа. Сидишь на цепи в собственной грязи и считаешь вдохи, как ребёнок считает овец перед сном. Знаешь, что держит тебя живым? Не свет. Свет твой — горстка углей, я мог бы задуть его одним выдохом. Тебя держит упрямство. Одно упрямство — больше ничего. Двадцать два года ты держишься за него, как утопающий за щепку. А щепка гниёт, старик. Я слышу, как она гниёт. Ты жалок.

Пленный смотрел на него единственным глазом. Четыре. Три.

— Хочешь, я надену другое лицо? — тихо спросил Шаргат. — Ты знаешь какое.

Мальчишеские черты дрогнули и потекли, как воск над свечой. Нос, скулы, веснушки — всё поплыло, смягчилось, стало тоньше…

— Не смей, — сказал пленный.

Лицо застыло на полпути — ещё не то, уже не мальчишеское, — и Шаргат рассмеялся. Смех у него был негромкий, тёплый, почти счастливый.

— Вот, — сказал он. — Вот поэтому ты мне и нравишься. Двадцать два года, а она всё ещё здесь. — Он постучал пальцем себе по виску. — Я ношу её лучше, чем ты помнишь.

И лицо снова стало мальчишеским — веснушчатым, курносым, мёртвым.

— Твой свет шевельнулся, — сказал Шаргат уже другим голосом, без ласки. — Два года назад. Дважды. Первый раз — тихо, как во сне: в старом святилище в ельнике, где камень молчал двадцать лет. Второй раз — громко. Из-под земли, под белым городом. Так громко, что мои дети сгорели все до одного, а река светилась до дна. Ты почувствовал. Я видел твоё лицо в ту ночь.

Пленный не ответил. Но счёт сбился — впервые за много лет сбился сам, — и он знал, что Шаргат это видит.

— Маленький огонёк научился жечь, — с удовольствием сказал Шаргат. — Очень по-нашему. Мне нравится. Скоро её привезут сюда, старик. Сюда, где свету некуда бежать. И когда она погаснет — вместе со всем, что в ней спрятано, — ты станешь мне не нужен.

Он наклонился к самой решётке. Белые искры в чёрных глазах почти коснулись лица пленного.

— Я оставлю тебя напоследок, — шепнул он. — Чтобы ты посмотрел. Ты ведь любишь смотреть.

И ушёл.

* * *

Холод потёк за ним по галерее, как шлейф. Мёртвые стражи у входа опустили плечи. Факел у решётки выпрямился и снова горел — без света, как всегда. Где-то застонали. Где-то закашляли. Где-то снова запел без слов чей-то сорванный голос. Галерея ожила — если это можно было назвать жизнью.

В соседней клетке мёртвый парень-солмирец стоял лицом к стене и ждал утра.

Пленный висел на цепях и долго не мог вздохнуть.

Потом начал считать заново. С одного.

Вдох — сколько уходит. Выдох — сколько остаётся.

Один.

Два.

На трёх уголёк под рёбрами шевельнулся — сам, без его воли. Слабо, едва ощутимо. Будто где-то далеко-далеко на юге, за перевалами, за снегами, за всей этой тьмой, кто-то так же, как он, не спал этой ночью и смотрел в темноту.

И горел.

Двадцать два года пленный не боялся ничего. Ни дравэнов. Ни боли. Ни смерти, которую ему так и не позволили.

Этой ночью он впервые испугался.

Не за себя.

Глава 1
Серебро плохо гнётся

В последнее утро в Утёсе я встала до колокола. Как всегда.

Два года — семьсот с лишним рассветов — я поднималась раньше всех. Сначала потому, что не могла спать. Потом потому, что привыкла. А потом это просто стало тем, кто я есть: та, что уже стоит на малом дворе, пока остальные ещё ищут в темноте сапоги.

Столб у дальней стены был уже третьим. Первый, жёлтый и пахнувший смолой, Хальдор вкопал в ту осень, когда на малом дворе ещё курилось пепелище. Второй я расколола прошлой зимой. Третий стоял с весны, и на нём не осталось живого места — зарубки, трещины и чёрные выжженные отпечатки ладоней. Моих.

Я ударила его двести раз. Хальдор не считал. Он перестал считать вслух ещё в прошлом году, когда понял, что я считаю точнее него. Он просто сидел на своём камне у стены, там, где когда-то стояла скамья, кутался в плащ и смотрел. Он сильно поседел. А смотрел всё так же — как смотрят на сталь, которую сам вынул из горна, и не знаешь, что из неё вышло: клинок или беда.

Потом я пошла к Стене Памяти.

Имён на ней прибавилось столько, что старик-каменотёс начал новую стену, напротив. Но одно имя я находила бы с закрытыми глазами. ИЛО. И ниже, мелко: САМЫЙ МОЛОДОЙ РЫЦАРЬ СЕРОГО УТЁСА. Каждое утро весь Утёс касался этих букв на бегу, и они стали гладкими, как речная галька.

— Доброе утро, рыцарь, — сказала я.

Вслух. Каждое утро. Это было единственное, что я говорила мягким голосом. Больше никому.

Я приложила к ним ладонь. Камень был холодный.

Я тоже.

Раньше здесь что-то поднималось из-под рёбер — тёмное, медленное, как рыба подо льдом. Я научилась не давать ей всплыть. Теперь лёд был толстым, и под ним было тихо. Только ивовая свистулька на шнурке под воротом мундира лежала на груди — лёгкая, тёплая от кожи. За два года я ни разу в неё не свистнула. И ни разу не сняла.

Закалка была вчера.

Наш десяток прошёл её первым. Все десятеро, без единого раненого, за время, которое старый Гаррон, как он сам сказал, не видел с тех пор, как Закалку проходил десяток наследного принца. В Утёсе нас давно уже не звали Бревном. Нас звали Десятком — с заглавной, как зовут то, что всегда одно. Сырые замолкали, когда мы входили в столовую. Кованые спорили, кто из нас сильнее. А Вельга, которая когда-то обещала, что нас спишут до снега, вчера впервые прошла мимо нашего строя и ничего не сказала. У Вельги это означало: годны.

* * *

— Ты знаешь, что на тебя теперь иначе смотрят? — спросила Тали.

Мы собирали мешки в казарме. У меня в мешке было немного: смена белья, травы, иглы и шёлк для швов, стопка варежек от Гуннара — он вязал их мне каждую зиму и каждую зиму сердился, что я их не ношу. Солмирский клинок с солнцем под короной висел у меня на поясе. Рядом — отцовский нож Сигрид. Она отдала его мне в ту зиму и с тех пор ни разу не попросила назад.

— Раньше смотрели как? Ах, бедняжка, хрупкая, серебряная, просто каравай из сдобного теста, только не дышите на него. — Тали затянула мешок зубами. Она так и не выросла ни на палец, зато научилась сбивать с ног людей вдвое выше себя. — А теперь смотрят, как на клинок в оружейной. Красиво. Аж дух захватывает. И руками лучше не трогать.

Я не ответила. Но, затягивая ремень, посмотрела в осколок зеркала, прибитый над умывальником.

Лицо было мамино. Так сказал Хальдор, так сказала Сольвейг, так сказала королева в тот единственный раз, когда приезжала в Утёс и долго держала мои руки в своих. Но то, что смотрело из зеркала, не было мягким. Скулы стали резче. Рот — жёстче. Белая полоска шрама через левую бровь, шесть стежков Сольвейг, ломала бровь так, что лицо казалось чуть насмешливым, даже когда я не думала ни о чём. Серебристые волосы до подбородка, неровные: срезаны ножом, чтобы никто не смог схватить. А глаза — изумрудные, как и были, — больше не просили ни о чём. Изумрудный лёд над омутом. Красиво, если не знать, что под ним.

На запястьях, выглядывая из-под манжет, серели два браслета — то, что осталось от ночи в катакомбах. Серость так и не сошла. Я перестала её прятать.

— Ужасно, — сказала Тали, проследив мой взгляд. — Ты даже в зеркало смотришь так, будто выбираешь, куда его ударить.

В другой жизни я бы засмеялась. В этой — только кивнула и закинула мешок на плечо.

Они все изменились. Нико вымахал на голову и теперь воровал с офицерского стола не горшочки мёда, а целые окорока. Аларик больше не падал в обморок при виде крови — вот уже год он шил раны так же ровно, как цитировал устав, и только страдальчески закатывал глаза. Финн держал сеть на весь десяток и выбирал нить быстрее, чем раньше успевал выбрать кашу или хлеб. Сигрид стала ещё резче и ещё вернее. Руна обзавелась таким количеством оберегов, что звенела на бегу, как сани на праздник, — и всё равно клала стрелу в глазную щель шлема со ста шагов. Эйла говорила — немного, по слову в день, но каждое слово все слушали. Освин по-прежнему носил на пальце дедовский перстень и по-прежнему считал, что мир ему должен, но теперь держал щит так, что о него ломались копья. Гуннар не изменился. Гуннар был таким же, как гора, — только седины в рыжей бороде прибавилось.

И они все видели, какой стала я. Никто не говорил об этом вслух — кроме Тали, которая говорила вслух всё. Но когда я не ела, моя миска непонятным образом оказывалась полной снова. Когда я уходила на двор после отбоя, на моём тюфяке к утру оказывалось лишнее одеяло. А когда на третьей неделе второго года один кованый ляпнул в столовой что-то про «серебряную статую, у которой мальчишку сжегли», он ещё не договорил, а рядом с ним уже стояли Гуннар, Сигрид и Нико — и он замолчал. Больше в Утёсе про Ило никто не шутил.

Я не сказала им «спасибо». Ни разу. Они и не ждали. Десяток — это когда не ждут.

* * *

Распределение читал сам Гаррон.

Выпуск стоял на плацу — шестьдесят два человека в новых мундирах закалённых. На стенах толпились сырые и кованые. У ворот тётушка Хедда мнула фартук и делала вид, что у неё слезятся глаза от ветра. Рядом с ней стояла Лотта — ей было уже девять, и она держала на руках серого голубя.

— Все выпускники этого года, — сказал Гаррон, и его голос прокатился по плацу, как камень по склону, — направляются на западный рубеж. В крепость Чёрная Гать. Выступаете завтра на рассвете.

По строю прошёл гул. Не возмущённый — возмущаться на плацу перед Гарроном не смел никто, — а растерянный. На перевал хотели все. На перевале стояли легионы, там были «Рубеж» и генерал, о котором сложили столько песен, что кухонные девчонки путали слова

и краснели с глупыми улыбками. Там была слава. А запад — это болота, дождь и крепости, о которых в столице вспоминали, только когда оттуда приходили списки погибших.

Два года скаррады не могли пробиться через перевал. А всё это время они грызли запад — без песен, без легионов, деревню за деревней.

Я стояла в первом ряду и смотрела прямо перед собой.

Не перевал.

Что-то шевельнулось под рёбрами — там, где я давно ничего не держала. Коротко, остро, как заноза, на которую наступила в темноте. Там, на перевале, были двое людей, чьи имена я не произносила даже про себя. Один уехал, не попрощавшись. Опять. Другой оставил на столике у моей койки деревянную звезду и обещание, которого я не слышала. Звезда так и лежала там, на столике, в лазарете. Сольвейг не давала её трогать никому. Даже мне.

Я прижала это, как прижимают ладонью рану, — и оно затихло. Запад так запад. Скаррады там те же. Умирают так же.

— Я еду с ними.

Хальдор стоял у края плаца, в старой кольчуге и дорожном плаще, и вид у него был такой, будто он собрался ещё неделю назад.

Гаррон медленно повернул голову.

— Тебе шестьдесят семь, старый пёс.

— Шестьдесят восемь, — поправил Хальдор. — И я дал слово.

Он не сказал кому. Он никогда не говорил. Но Гаррон посмотрел на него, потом на меня — и больше ничего не спросил.

* * *

Запад начался на четвёртый день дороги — с дождя.

Он не лил, как льют дожди дома, и не кончался. Он просто висел в воздухе — мелкий, серый, тёплый, как пар над котлом с бельём, — и через час на тебе не оставалось сухой нитки. Потом кончились поля. Потом кончились леса. И начались болота.

Дорога стала гатью — бревнами, уложенными поперёк топи. Брёвна гнили, прогибались под копытами и чавкали, и из щелей между ними выступала чёрная вода. По обе стороны тянулись рыжие кочки, мёртвые серые берёзы с содранной корой и окна тёмной воды, в которых ничего не отражалось. Пахло торфом, гнилью и чем-то сладковатым, от чего Аларик второй день ехал с платком у носа. Я знала этот запах. Так пахнет там, где не успели сжечь мёртвых.

Мы проезжали деревни. Вернее, то, что от них осталось: печные трубы из мокрого пепла, колодезные журавли, торчащие из тумана, как виселицы. В одной, на шестой день, стояла целая изба — одна среди пожарища. На крыльце сидела старуха и смотрела, как мимо идут шестьдесят два всадника в серых мундирах. Она не шевельнулась. Не махнула рукой. И только когда последний из нас поравнялся с крыльцом, сказала в спину, ни к кому не обращаясь:

— Ещё детей прислали.

Нико, который не молчал ни при каких обстоятельствах, промолчал до самого вечера.

* * *

Чёрную Гать мы увидели на десятый день, к вечеру. Сначала — по запаху.

Крепость стояла на низком пологом холме посреди топей, как прыщ на лице больного. Не каменная — камня здесь не было на сто вёрст вокруг, — а бревенчатая: двойной частокол из затёсанных брёвен, почерневших от сырости, земляной вал и четыре сторожевые башни, перекошенные, как гнилые зубы. По частоколу тот тут, то там белели свежие заплаты — там,

где старое дерево сгнило или сгорело. Над воротами обвисло на дожде знамя Валдара — такое старое и грязное, что золотого льва на нём было уже не разобрать.

На кольях частокола сидели вороны. Десятки ворон. Они не каркали — просто сидели и смотрели на нас, как смотрят на обед, который ещё не совсем готов.

Руна посмотрела на них и тихо, одними губами, стала считать.

— Не надо, — сказала ей Сигрид.

— Надо. Если их чётное число…

— Руна.

Руна замолчала. Но я видела, как шевелятся её губы. И видела, как она побледнела, когда досчитала.

Перед воротами, на кольях, вбитых в топь, торчали головы. Девять. Лицами к крепости. Скаррады всегда ставят их лицами к осаждённым — чтобы те, кто на стене, смотрели в глаза своим дозорным каждое утро. Из крепости их не снимали. Выйти за ворота и снять — значило стать десятой.

Тали отвернулась. Аларик наконец убрал платок от лица — платок больше не помогал. Гуннар проехал мимо кольев медленно и на каждом снимал шапку.

Я посмотрела им в лица. Всем девяти. Потому что кто-то должен был посмотреть. И чтобы запомнить счёт.

* * *

Внутри было хуже.

Двор крепости превратился в месиво из грязи, навоза и соломы — лошади тонули в нём по бабки, люди — по колено. Казармы стояли на сваях, и всё равно из-под их полов сочилась бурая вода. Из труб полз торфяной дым, тяжёлый, жёлтый, и стелился по двору, не поднимаясь. Пахло дымом, отхожим местом, мокрой шерстью и болезнью. Я знала каждый из этих запахов по лазарету. Здесь они были сразу все.

Солдаты не вышли нас встречать. Они смотрели с настилов и из дверей казарм — серые, заросшие, в ржавых кольчугах поверх тряпья, с пожелтевшими повязками на руках и головах. У одного заместо левой руки была культя, и на культе он держал щит. Они смотрели на наши новые мундиры, на чистые сапоги, на цветные шнуры — и в их глазах не было ни радости, ни надежды. Только усталое любопытство: сколько из этих доживёт до зимы.

Комендант вышел из башни сам.

Его звали Стейн, и он был похож на свою крепость: большой, чёрный от сырости и такой же перекошенный. Лицо у него было бугристое, в старых ожогах, без бровей и ресниц, и оттого казалось, что он всё время смотрит не мигая. Он опирался на секиру, как старик на посох, и долго смотрел, как мы спешиваемся и строимся в грязи. Потом сплюнул.

— Я просил у короля два полка, — сказал он. Голос у него был сиплым, сорванным — голос человека, который годами перекрикивает бой. — Два полка, лучников и тех, кто умеет держать стену. А мне прислали щенков. В чистых сапожках. С цветными верёвочками на плечах. — Он обвёл взглядом строй, и взгляд у него был такой, будто он уже считал, сколько из нас надо будет сжечь. — Эти не помогут. Эти будут только путаться под ногами. И орать, когда первый мертвец из топи позовёт их по имени.

По строю прошло движение — кто-то из стальных сделал шаг вперёд и не решился на второй. Стейн даже не посмотрел в ту сторону. Его взгляд остановился на мне — на серебре волос, на золотом шнуре.

— А это что такое? Игрушка из дворца? Кто тебя сюда заслал, деточка, — за какие грехи?

Я смотрела ему в глаза — в те самые, без ресниц, немигающие.

— Мы не путаемся под ногами, комендант, — сказала я. — Мы стоим впереди них.

Кто-то за моей спиной фыркнул — кажется, Нико. Стейн чуть наклонил голову, разглядывая меня так, как разглядывают на рынке кобылу с подозрительно хорошими зубами.

— Впереди, значит, — повторил он. — Ну-ну. Впереди у нас тоже стояли. Вон они теперь — у ворот стоят. Девятеро. — Потом он увидел, кто спешивается в хвосте колонны, и его безбровое лицо впервые дрогнуло. — Хальдор? Старый волк, тебя-то зачем прислали? Щенков нянчить?

— Именно, — сказал Хальдор и передал повод конюху. — И тебя заодно, Стейн. Вижу, надо.

Больше комендант ничего не сказал. Только махнул рукой в сторону дальних казарм — тех, что стояли у самого частокола, со стороны болота, с проваленными крышами, — и уковылял обратно в башню.

Вечером мы вычерпали воду из казармы вёдрами. Вёдра, вёдра, вёдра — как в первый год. Освин ныл, что нас столько лет закаливали не для того, чтобы вечно таскать воду. Гуннар молча перестилал у двери прогнившие доски. Нико куда-то исчез и вернулся с охапкой сухого сена и кругом сыра, про который строго сказал, что тот сам упал с комендантского стола.

А Хальдор до темноты стоял на стене со Стейном. Я слышала обрывки — сердитый сиплый голос и ровный голос Хальдора.

— …три месяца не подходили ближе топи. Жгли деревни вокруг, а сюда — ни ногой. Сидят в болоте, как ждут чего-то…

— Или кого-то, — сказал Хальдор.

Ветер со стороны болота нес запах гнили. И ещё что-то — едва слышное, на самой границе слуха. Вороны на частоколе сидели неподвижно и все как один смотрели в туман. Я положила ладонь на рукоять клинка и не сняла сапоги, когда легла.

Не зря.

* * *

Первыми проснулись вороны.

Они поднялись с частокола разом, все, без единого звука — просто тёмная туча крыльев над крепостью, и от её шороха я открыла глаза. В ту же минуту Финн сел на сене, белый в темноте, как простыня.

— Нити, — сказал он. Совсем как два года назад у брода, только голос у него больше не дрожал. — Все нити тянутся сюда. Из болота. Их… — Он сглотнул. — Я не могу сосчитать. Они сливаются.

А потом ударил колокол.

Мы выскочили во двор все десятеро, одетые, с оружием — никто из нас не снял сапог. Над болотом стоял туман, и в тумане стучала кость о кость. Медленно, мерно, как стучит палка слепого по мостовой. И смех. Тот самый, ленивый, сухой, будто по камню тащат цепь. Я слышала его в Броде. На мосту. В катакомбах. В катакомбах я слышала его в последний раз.

Под рёбрами стало холодно и ясно. Не страшно. Ясно.

Из тумана вышли мёртвые.

Они шли первыми — всегда первыми, потому что их не жалко. Утопленники из топей, раздутые, в тине, в лохмотьях валдарских мундиров и деревенских рубах, с белыми глазами. Сотни. Они брели к частоколу, спотыкаясь, и звали.

— Открой… Мама, открой… Это я… Мне холодно…

На стене кто-то закричал и не мог перестать. Стейн ревел с башни что-то про смолу и факелы, стрелы уходили в туман с чавкающим звуком. А за мёртвыми, не торопясь, как приходят, чтобы поиграть, шли скаррады.

Я видела их с настила над нашей казармой. Чёрные пластины, белые глаза, длинные силуэты в тумане — один ряд, второй, третий, и за ними ещё, и ещё, до самого края топи. Стейн сказал, что три месяца они не подходили ближе болота. Теперь пришло всё болото.

И шли они не к воротам.

Они шли сюда. К дальним казармам у болота. К тому самому куску частокола, где брёвна были старее всего и где ночевали щенки в чистых сапогах.

И тогда я поняла, за кем они пришли.

* * *

Частокол рухнул на втором часу.

Гнилые брёвна не выдержали — мёртвые навалились на них так, что нижние давились, а верхние лезли по ним, как по лестнице. Дерево застонало, как живое, и целый пролёт стены — шагов десять — медленно ушёл внутрь, прямо на крышу нашей казармы. В пролом хлынули мёртвые, а за ними, по их спинам, — скаррады.

Я пошла туда.

Не побежала — пошла. Через строй выпускников, сомкнувший щиты позади пролома, мимо чьих-то белых лиц, мимо крика «Куда?! Назад!» — вперёд, в самую дыру, туда, где между расщеплёнными брёвнами уже шевелилась тьма.

— Мирэль!

Хальдор догнал меня у самого пролома и схватил за плечо — железной рукой, как когда-то хватал на малом дворе, когда я делала глупость.

— Назад, девочка. За щиты. Слышишь? Первый ряд — не для тебя. Ты знаешь, за кем они пришли.

— Знаю, — сказала я. — Поэтому — для меня.

Он смотрел на меня одно мгновение. В свете горящей смолы его лицо было старым — старее, чем я когда-либо его видела. Потом он выругался — длинно, матерно, по-солдатски, так, как не ругался при мне никогда, — отпустил моё плечо и вытащил меч.

— Упрямая, как вся твоя порода, — процедил он. — Ладно. Я слева.

И встал слева.

За спиной по грязи зачавкали сапоги. Я не обернулась — мне не нужно было оборачиваться. Гуннар встал справа, с топором на плече. Рядом с ним — Освин, со щитом, серый от страха и совершенно спокойный. Сигрид — с уже тлеющими янтарными жилами на шее. Тали. Нико с двумя ножами. Стрела Руны свистнула у меня над ухом — с настила, в первого мертвеца, влезавшего в пролом, — и он опрокинулся назад со стрелой с костяной птичкой в глазу. А в голове у меня зазвучал финнов голос — не ушами, а изнутри, спокойный и тихий, как вода в колодце:

Сеть держу. Десятеро. Я с вами.

А когда-то он не мог выбрать одну нить.

* * *

Из пролома вышел скаррад.

Он не лез — он шёл по спинам своих мертвецов, как по мосту, и они подставляли ему спины. Огромный. Вдвое выше меня, с плечами, утыканными костяными шипами, и с тесаком в руке — таким рубят туши на бойне. Он спрыгнул в грязь в десяти шагах от нас, и грязь чавкнула под ним, как под волом. Обвёл нас своими белыми глазами — медленно, одного за другим. На мне взгляд остановился.

И он усмехнулся.

— Вот она, — сказал он на нашем языке, растягивая слова, будто пробовал их на вкус. — Серебряная. Её — живой. — Он лениво повёл тесаком вдоль нашего строя. — Остальных — убить.

За его спиной засмеялись. Много голосов, сухо, предвкушающе.

И тогда я улыбнулась.

Я не помнила, когда делала это в последний раз. Может быть, тогда, в старом саду, когда один мальчишка отдал мне свой пряник. Улыбка вышла чужая — узкая, холодная, как лезвие, которое на палец вытянули из ножен. Я почувствовала, как справа от меня перестал дышать Гуннар.

— Хочешь меня забрать? — сказала я и сделала шаг вперёд, из-за щитов, в грязь, на открытое место. — Так приди и возьми. Если сможешь. Только смотри, — я чуть наклонила голову, — серебро плохо гнётся. Не сломай зубы.

Смех за его спиной оборвался.

На одно мгновение стало так тихо, что я услышала, как трещит смола на факелах. Скаррады не любят, когда смеются не они. Усмешка сползла с лица великана, как сползает краска с мокрой стены. Белые глаза сузились. Он что-то рыкнул своим на лающем наречии — те остались стоять — и бросился на меня сам.

Он был быстрым. Для своего роста — очень. Тесак пошёл слева направо, на уровне моего пояса, так, чтобы не убить — разрубить ноги. «Не целой», — подумала я, и память тотчас подсунула каменный зал, черепа и латную перчатку — и я захлопнула память, как дверь.

Меня там уже не было.

Тесак разрезал воздух и грязь там, где я стояла полвдоха назад, — а я была у него под рукой, внутри удара, так близко, что чувствовала запах тины от его пластин. Первый удар — снизу вверх, по внутренней стороне бедра, туда, где пластины расходятся, чтобы ему было чем ходить. Чёрная кровь плеснула мне на рукав. Он развернулся — быстро, с рыком, наотмашь, — и снова рубанул пустоту. Я была у него за спиной. Второй удар — под колено, по сухожилию, коротко, без замаха, как учили на малом дворе. Великан рухнул на одно колено в грязь, и впервые наши лица оказались вровень.

Я увидела его глаза совсем близко. В них было то, чего я никогда не видела у скаррада. Недоумение.

Третий удар я не выбирала — его выбрала рука. Двойной поворот кисти и шаг внутрь. Солмирский. Остриё вошло в щель между челюстью и воротной пластиной — в ту самую, шириной в два пальца, о которой когда-то рассказывала слепая Ильва на уроках «Знай врага». Этот поворот кисти показал мне человек, чьё имя я не произносила. На миг — на полудара сердца — я увидела старый сад, кривую яблоню и белую стружку, как снег. Потом выдернула клинок.

Скаррад постоял на колене ещё немного, как будто думал, что сказать. И упал лицом в грязь.

Три удара.

Я перешагнула через его руку с тесаком и посмотрела на тех, кто стоял в проломе.

— Кто следующий? — спросила я.

* * *

Следующими были все.

Они хлынули в пролом с воем, в котором больше не было смеха, — и дальше я помню кусками, как вспышки света.

Я помню, что не думала. Два года по двести ударов каждое утро сделали так, что думать было не нужно. Тело знало само. Они рубили — там, где я была. Кололи — туда, где меня уже

не было. Я шла сквозь них, как вода идёт сквозь пальцы, — низко, быстро, ни разу не останавливаясь, ни разу не принимая удар на клинок, потому что сила была на их стороне, а скорость — на моей. Щель под мышкой. Щель под коленом. Щель между шлемом и наплечником. У каждого доспеха есть место, где его нет. У каждого человека — тоже. Меня этому научили очень хорошо. Словами.

Я помню Хальдора. Слева. Всегда слева. Каждый раз, когда мне в левый бок шла сталь, там уже был его меч. Он задыхался. Он ругался на чём свет стоит — на меня, на скаррадов, на свои шестьдесят восемь. Он не отступил ни на шаг.

Я помню, как из тумана, лениво, не торопясь, вышли трое иссушающих — без оружия, с голыми руками, и грязь седела под их шагами. И как за ними сомкнулись в клин скаррады — два десятка, три, сплошная чёрная стена пластин — и пошли на наши щиты, так, чтобы смять их одним ударом.

И тогда я позвала свет.

Не так, как звала его раньше, — открывая руки, отдавая, обнимая. Иначе. Я научилась этому сама, на малом дворе, ночами, пока Хальдор сидел на своём камне и делал вид, что дремлет. Свет поднялся из-под рёбер — холодный, безжалостный, цвета клинка, — потёк по руке в ладонь, из ладони в рукоять, из рукояти в клинок. И солмирская сталь вспыхнула.

Не золотом. Сталью. Лезвие вдруг стало втрое длиннее — второе лезвие, из света, белостальное, дрожащее, как воздух над горном. Я ударила им наискосок, справа налево, во всю длину руки.

И оно прошло сквозь них.

Сквозь костяные пластины — как серп сквозь сухой камыш. Сквозь тесаки, поднятые для удара. Сквозь троих иссушающих, которые даже не успели протянуть руки. Передний ряд клина остановился — и распался, и чёрные обломки пластин посыпались в грязь с шипением, как раскалённое железо, брошенное в воду.

Раньше мой свет был руками, которые тянутся к другому. Теперь он был клинком. И расправляться с ним было легче.

За моей спиной кто-то из выпускников — не из наших — сдавленно сказал: «Свет всемогущий…» А скаррады в проломе впервые за эту ночь попятились.

За свет платят. Из носа на губы потекло тёплое, серые браслеты на запястьях заныли, как на лютом морозе. Вдох — сколько уходит. Выдох — сколько остаётся. Ровно столько, сколько нужно. Я вытерла кровь тыльной стороной запястья и пошла вперёд.

* * *

Я помню десяток.

Сигрид горела. Вся, целиком, от коротко стриженной макушки до сапог, и дождь шипел на ней, превращаясь в пар. Она врезалась в мертвецов с рычанием, как на рынке в драке за отцовский улов, и там, где она проходила, они вспыхивали и падали и больше не вставали.

Гуннар рубил топором. Молча, мерно, как молотят цепом на току, и каждый его удар клал одного. Рядом с ним Освин держал щит — в самой горловине пролома, там, где давили сильнее всего, — и сквозь зубы, задыхаясь, на каждом ударе в щит объявлял:

— Это… уже… третий взнос! Проценты… растут! Вы мне… все… должны!

Нико вертелся под ногами у скаррадов, мелкий, вертлявый, как крыса в амбаре, и его два ножа находили каждую щель, которую оставляли незакрытой доспехи. Вогнав нож в сухожилие очередного, он проорал на всю проломную стену:

— Я очень заботливый! Вот, позаботился!

Руна стреляла с настила, и обереги звенели на ней при каждом выстреле. Она не стреляла в мёртвых — мёртвые её не интересовали. Она искала в тумане тех, кто поднимал мёртвых,

— тощих скаррадов в длинных лохмотьях, которые стояли позади и заунывно тянули своё «встань». Когда падал такой, десяток мертвецов перед нами складывался, как пустые мешки. Руна уложила пятерых. Потом, после боя, она скажет, что воронов вечером было чётное число и что это значило «наша возьмёт». Никто не станет с ней спорить.

Аларик и Эйла вытаскивали раненых из-под ног — за шиворот, за ремни, на плащах — и за углом казармы, под стрелами, на коленях в грязи, шили и перетягивали. Аларик сказал потом, что за ночь наложил семьдесят два шва и ни разу не упал в обморок, что, согласно уставу, следовало бы отметить в приказе.

А Тали…

Он вышел из пролома на третьем часу — мёртвый, в обрывках валдарского мундира, с тёмными кудрями, круглолицый. И позвал:

— Тали… Талька, это я… Ты что, не узнаёшь?..

Тали остановилась. Меч в её руке опустился. У неё было двое старших братьев. Оба лежали на границе. На западной границе — я поняла это только сейчас, и от этого понимания стало холодно даже под моим льдом.

А за спиной у неё из грязи уже поднимался другой, с тесаком.

Я была слишком далеко. Десять шагов, трое скаррадов между нами. Я не думала — просто выбросила в её сторону левую руку, пустую, раскрытую, как только не делают с мечом в другой. И в ладони что-то вспыхнуло — на миг, тепло и странно, — и погасло. Тесак скаррада отлетел в сторону, будто ударился о стену, которой там не было.

Я не успела понять, что это было. Некогда было понимать.

— Тали! — я не узнала свой голос. — Это не он! Слышишь?! Это не он!

Тали мотнула головой, как собака, вылезшая из воды. Посмотрела на мёртвое круглое лицо перед собой — своё лицо, только старше и серее.

— Прости, — сказала она ему тихо, совсем тихо. — Прости. Прости. Прости.

И ударила.

* * *

Они шли трижды.

Трижды за ночь скаррады отходили в туман, оставляя в проломе горы тел, и трижды возвращались. Стейн перебросил к нам половину гарнизона — серых, заросших, с ржавыми мечами, — и они встали рядом с нами и дрались так, как дерутся люди, которым некуда отступать. Однорукий с щитом на культе стоял спина к спине с Гуннаром до самого утра. Сам Стейн спустился с башни на третьей волне, со своей секирой, и я видела, как он расколол череп скарраду, который подобрался ко мне справа, и ни слова не сказал.

Наш выпуск потерял в ту ночь одиннадцать человек. Я знала каждого в лицо. С четырьмя из них я носила камни по одной тропе. Одна девочка из Пламени дралась недалеко от меня — я слышала, как она смеётся, отбивая удар, и как смех обрывается. Я не обернулась. Если бы я обернулась, их было бы двенадцать.

А потом туман над болотом посерел.

Последние скаррады отходили молча. Спиной вперёд — не сводя с меня белых глаз. Один из них остановился на краю топи и что-то сказал на лающем наречии, не мне — своим. Одно слово. Я не знала этого языка. Но поняла.

Так говорят о том, что оказалось тверже, чем думали.

* * *

Рассвет в Чёрной Гати был таким же серым, как всё остальное.

Он не наступил, а просто просочился сквозь туман, и в его свете стало видно то, чего ночью не было видно. Пролом был завален телами так, что частокол снова стал стеной — стеной из чёрных пластин, серых рук и белых немигающих глаз. Грязь во дворе была чёрной и расступалась под сапогами не как вода. Вороны вернулись на частокол. Теперь им было чего ждать.

Я сидела на перевёрнутой телеге у стены казармы и чистила клинок.

Руки делали это сами: тряпка, песок, масло, снова тряпка. Чёрная скаррадская кровь плохо сходит со стали — если не стереть сразу, она въедается пятнами, как ржа. Солнце под короной на клинке показалось из-под грязи — сначала лучи, потом зубцы короны. Я не смотрела на него. Я никогда не смотрела на него дольше, чем нужно.

Рядом со мной спала Тали — сидя, привалившись к моему плечу, с мечом на коленях. Лицо у неё было мокрым, но теперь уже нельзя было понять — от дождя или нет. Гуннар сидел на корточках у стены, сняв один сапог, и медленно, серьёзно выжимал носок.

— Промокли, — сообщил он никому в особенности. Это было первое, что он сказал за всю ночь.

Нико тихо засмеялся — и смеялся долго, слишком долго, уткнувшись лбом в колени, пока Сигрид не положила ему руку на затылок. Тогда он замолчал.

Мы были живы. Все десятеро. Расцарапанные, порезанные, чёрные от чужой крови — и живы. Освин лежал на спине прямо в грязи, раскинув руки, и смотрел в серое небо с выражением человека, который подсчитывает, сколько ему теперь должна вся Валдарская корона. Финн сидел, закинув голову, и Аларик держал у его носа мокрую тряпку — целая ночь сети на десятерых стоила дорого. Эйла спала на плаще между ранеными, и в руке у неё был кусочек угля.

А Руна стояла на настиле и считала ворон.

* * *

Стейн пришёл, когда посчитали мёртвых.

Он шёл вдоль пролома медленно, опираясь на секиру, и смотрел под ноги. На скаррадов с распоротыми пластинами — ровно, наискосок, будто не мечом, а нитью. На иссушающих, от которых остались только пустые серые шкуры. На великана с тесаком, который так и лежал лицом в грязи в десяти шагах от казармы. Стейн остановился над ним, подцепил сапогом костяной шип на плече и долго смотрел.

— Гракх, — сказал он. — Так пленные его называли. Два года он водил их по этим болотам. Два года я пытался до него дотянуться. Положил на это семьдесят человек. — Он поднял голову и посмотрел на меня. — Сколько ударов?

— Три, — сказал Хальдор раньше, чем я успела открыть рот.

Он сидел на бревне чуть поодаль, и Руна перевязывала ему плечо. Старик был серый, как пепел, и дышал тяжело, со свистом. Шестьдесят восемь, сказал он Гаррону. И всю ночь — слева.

Стейн помолчал. Потом перевёл взгляд на нас — на Гуннара с носком в руке, на Освина в грязи, на спящую Тали, на финнову окровавленную тряпку, — и потом сделал то, чего, как мне сказали потом его солдаты, в Чёрной Гати не делал ни разу.

Снял шлем.

Без шлема он оказался старше, чем казался. Лысый, в буграх ожогов до самой макушки, с усталыми немигающими глазами.

— Я сказал — щенки, — произнёс он своим сорванным голосом. Так, чтобы слышали все: и мы, и его солдаты на настилах, и вороны. — Я тридцать лет держу эту стену. И я ошибся. — Он помолчал. — Из таких щенков вырастают волки. А вы, похоже, уже.

И поклонился.

Не кивнул — поклонился. Комендант Чёрной Гати, опираясь на секиру, с шлемом под мышкой, поклонился в грязи перед десятью вчерашними кадетами. На настилах кто-то из его людей ударил мечом о щит. Потом другой. Потом все. Старый солдатский обычай — так на стенах встречают тех, кто вернулся из боя, когда никто уже не ждал. Сталь о сталь, сталь о сталь — над болотом, над туманом, над девятью головами на кольях у ворот.

Тали проснулась и спросонья схватилась за меч. Нико сказал ей: «Спи. Это нам», — и голос у него среди слова сломался.

Стейн выпрямился и снова посмотрел на меня.

— Казарму вам дадут другую. Мою, у ворот, там сухо. Я перейду сюда. — Он кивнул на пролом. — Раз уж сюда они приходят.

— Они приходят не сюда, — сказала я. — Они приходят за мной.

Стейн не удивился. Видимо, Хальдор успел сказать ему на стене достаточно.

— Знаю, — сказал он. — Три месяца они сидели в болоте и не шли. А в первую же ночь, как вы приехали, пришли всем болотом. Прямо к вашим дверям. — Его глаза сузились. — Приказ о вашем выпуске пришёл мне десять дней назад. Из дворцовой канцелярии. Кто-то в вашей белой столице читает приказы раньше меня.

Я ничего не ответила. Слова были не нужны. Однажды кто-то уже написал на королевской бумаге «В хвосте. Серебряные волосы». Неделю назад кто-то, наверное, написал на такой же бумаге «Чёрная Гать». Я смотрела на солнце под короной на своём клинке и думала о том, что ненависть — хорошая вещь. Ей всегда есть куда расти.

* * *

Вечером мы жгли мёртвых.

Своих — на холме за крепостью, на сухом, каждого на отдельном костре, до восхода, как положено. Хальдор говорил над каждым: «Пусть огонь отпустит тебя. Пусть тьма тебя не найдёт». Одиннадцать раз из нашего выпуска — хотя один из одиннадцати костров был пустым: Ивара из третьего десятка топь утянула у нас на глазах, и тела так и не нашли. И сорок два раза из гарнизона. К концу голос у него стал таким же, как у Стейна.

Я стояла у каждого костра до конца. Не плакала. Считала.

А ночью, когда новая казарма у ворот наконец затихла и даже Гуннар перестал вздыхать над носками, я увидела, что Хальдор не спит.

Он сидел у окна, при огарке свечи, и писал. Медленно, с трудом, как пишут люди, привыкшие держать меч, а не перо. Написал строчку. Подумал. Посмотрел в мою сторону — я лежала с закрытыми глазами, но он всё равно посмотрел. Написал ещё одну.

— Кому? — спросила я в темноту.

Он не вздрогнул. Хальдор никогда не вздрагивал.

— Старому другу, — сказал он. — Спи.

Я не спросила больше. Мне было всё равно. Я повернулась к стене и сжала в кулаке ивовую свистульку — не для того, чтобы свистнуть, просто сжала.

И на миг, совсем на миг, перед тем как уснуть, подумала о тёплой вспышке в левой ладони — там, у пролома, над Тали.

И заперла эту мысль туда же, куда запирала всё остальное.

* * *

Кайрен

На Высоком перевале снег не таял даже летом. Он лежал в расщелинах серыми языками, твёрдый, как соль, и к концу второго года Кайрен знал каждый из них — так же, как знал каждую тропу, каждый карниз над пропастью и каждую пещеру, где когда-то сидели иссушающие.

Когда-то. Теперь — нет.

За два года его войско не проиграло ни одного боя. Ни одного. Сначала об этом говорили шёпотом, потом у костров, а потом в столице стали петь песни, которых Кайрен не слышал и слышать не хотел. Песни врали. В песнях он был огнём, который сходит с гор. На деле он был человеком, который не спит.

Он видел нити. Видел раньше, чем скаррады успевали решить, куда пойдут: вот здесь клин свернёт в ущелье, вот здесь безликий наденет лицо дозорного, вот здесь, на третьем повороте, треснет лёд под конницей. Он шёл туда первым — всегда первым, — и за ним шли, потому что все уже знали: где генерал, там и победа. За двойной дар платят вдвойне. Чего это стоило, Кайрен не говорил никому.

Седая долина. Волчьи Зубы. Медвежья падь, где скаррады прятали в старых рудниках гнездо поднятых мертвецов, — Кайрен выжег рудники до камня, и камень потом неделю дымился. Из долин ушла тьма. Сначала те, кто ходил в чёрных пластинах. Потом те, кто прятался в деревнях под чужими лицами, — этих выслеживал Лейф, у него на безликих был нюх, какого не было ни у одного Ткача. А потом ушёл и страх.

К концу второй весны в Седую долину вернулись люди. В начале лета Кайрен проезжал её и видел над крышами дым — обычный дым из обычных печей. Девочка у колодца помахала ему рукой, и он не сразу понял, что ему.

Он не помахал в ответ. Не потому, что не хотел. Просто разучился.

* * *

Изольда ехала слева от него. Всегда слева и всегда на полкорпуса позади.

Она стала хорошим воином — лучше, чем он думал о ней тогда, в Утёсе. Её огонь шёл рядом с его огнём ровно, не перебивая, и в бою у Волчьих Зубов она дважды закрыла ему спину, не сказав ни слова и не ожидая ни слова в ответ. Она вообще больше не говорила с ним ни о чём, кроме дела. Тот давний разговор остался там, где она его оставила, и ни один из них к нему не возвращался.

Только иногда, ночью, когда он сидел у огня с кожаным кошелём на коленях, она приносила ему горячее вино с травами. Ставила рядом на камень. Смотрела на кошель — одно мгновение, не дольше. И уходила.

Он ни разу не сказал ей спасибо. Он знал, что она этого и не ждёт. Он знал и то, чего она ждёт, — и это было хуже.

* * *

В кошеле лежали письма Хальдора.

Хальдор писал редко: раз в месяц, иногда реже, когда обозы застревали в снегу или на дорогах было неспокойно. Письма приходили не голубями — голубям Кайрен больше не верил,

— а с гонцами, в общей сумке, между донесениями о фураже и жалобами интенданта на сапоги. Кайрен ни разу не показал, что ждёт их. Просто забирал, когда сумку вытряхивали на стол, и уносил к себе.

Письма были короткие. Хальдор никогда не любил бумагу. Пять строк, иногда три, и ни одного лишнего слова. И ни разу за два года — ни одного имени. Только «она».

Первое пришло через месяц после того, как они уехали.

«Ест. Мало. Не говорит. Хедда плачет. Я сижу у двери. Х.»

Кайрен прочитал его стоя, у стола с картами, и простоял так, пока не догорела свеча.

Второе — ещё через месяц.

«Встала. Вышла на двор. Двадцать ударов из двадцати. Х.»

Потом:

«Носит свистульку. Не свистит. Х.»

«Позвала свет на столбе. Сталь. Не золото. Столб пополам. Вкопал новый. Х.»

«Второй столб — тоже. Вкопал третий. Дерево кончается. Х.»

«Не смеётся. Десяток смеётся за неё. Освин старается за троих. Х.»

«Спрашивала про перевал. Один раз. Больше не спрашивает. Х.»

Это письмо он перечитывал чаще других. Один раз. О чём она спросила? Как — между делом, глядя в сторону, или прямо в глаза, как умела только она? Что ответил ей Хальдор? «Больше не спрашивает» — значит, решила не спрашивать. Значит, заперла и это. И научил её запирать он сам — тем, что ушёл.

«Закалка — первая. Весь десяток. Ела дважды. Х.»

«Ела дважды» появилось в письмах однажды осенью и с тех пор стояло почти в каждом, будто Хальдор знал, что это главное. Кайрен ловил себя на том, что после боя, отмывая руки от чёрной крови, думает не о том, сколько погибло и сколько осталось, а о том, ела ли она сегодня. Дважды. Хорошо.

Он не отвечал. Вернее, отвечал — каждый раз. Садился, брал перо, писал первую строку. Иногда вторую. А потом бумага вспыхивала у него в пальцах, и он смотрел, как буквы чернеют и сворачиваются, пока на столе не оставалось ничего, кроме пепла и запаха гари. Огнекровные иногда плохо спят. Огнекровные, как выяснилось, иногда и пишут плохо.

Дотянуться до неё нитями он не мог. Даже в Утёсе там, где стояла она, его дар слеп: нити вокруг неё гасли, и он научился узнавать её по этой темноте, как узнают по тишине комнату, где спит ребёнок. Отсюда, с перевала, он не чувствовал даже темноты. Остались только эти нити — бумажные. Сорок одна.

Этого было мало. И этого хватало.

* * *

Приказ о выпуске Утёса пришёл в той же общей сумке, в конце второго лета.

Кайрен его не искал. Он ни разу не спрашивал, куда отправят выпуск. Не спрашивал в письмах ко двору. Не спрашивал Гаррона. Не спрашивал себя — это было труднее всего, — потому что если спросить, придётся признать, что ждёшь ответа.

Лист был короткий, с печатью дворцовой канцелярии. «Серый Утёс. Выпуск. Шестьдесят два кадета. Направить на западный рубеж, в крепость Чёрная Гать, в распоряжение коменданта Стейна».

Чёрная Гать.

Не перевал.

Он прочитал дважды. Потом положил лист на стол, разгладил ладонью и долго смотрел на него, не видя букв.

Сначала пришла досада — острая, внезапная, как удар под рёбра. Он запрещал себе об этом думать — и всё-таки, оказывается, думал. Что однажды весной в лагерь въедет обоз с выпуском и он увидит её через двор. Только увидит. Серебро волос под капюшоном. Как она идёт. Как держит меч. Ему не нужно было бы подходить и не нужно было бы ничего говорить. Хватило бы одного взгляда через весь двор — одного раза.

Теперь не будет и этого.

А следом, так же внезапно, пришло облегчение. И оно было хуже досады, потому что было честнее.

Его не было рядом, когда она одна спустилась под часовню. Накануне он сжёг малый двор и ушёл — потому что так было правильно. Правильно для генерала. А потом уехал на перевал, пока она лежала без сознания: не попрощался, не дождался, когда она откроет глаза. Сказал над ней то, чего не говорил никому, — и она не услышала. Её сломали скаррады. Но его не было рядом. Иногда Кайрену казалось, что это одно и то же.

Если бы она приехала сюда, ему пришлось бы посмотреть ей в глаза. А он не знал, что в них увидит. Боялся, что ничего. Боялся, что всё.

Пусть запад. Пусть далеко. Так его учили с детства: тот, кто держит на плечах перевал, не держит в руке ничью руку. Он давно не повторял себе этих слов — они и без того вросли в него, как наконечник, который так и не стали вынимать.

* * *

Лейф пришёл вечером. Вошёл без стука — он никогда не стучал; Кайрен так и не отучил его, а потом перестал пытаться. Посмотрел на лист на столе. Он уже знал. Лейф всегда узнавал всё раньше, чем положено.

— Запад, — сказал он.

— Хорошо, — сказал Кайрен.

— Плохо.

— Да.

Они помолчали. За стеной выл ветер — перевальный, от которого к утру леденеют ресницы.

Лейф сел на край стола, взял лист и перечитал его. Лицо у него было спокойное, как всегда. Только пальцы на мгновение коснулись груди — там, где когда-то под рубашкой висела на шнурке звёздочка. Звёздочки там давно не было. Она осталась на столике в лазарете Утёса, у её кровати.

— Я обещал ей кое-что сказать, — произнёс Лейф, не поднимая глаз от листа. — Когда вернусь.

— Знаю.

— Выходит, возвращаться некуда. Её там больше нет.

— Значит, скажешь позже.

Лейф поднял на него глаза и усмехнулся одним углом рта.

— А ты бы сказал?

Кайрен не ответил.

— Вот и я, — сказал Лейф. Положил лист и вышел — так же без стука.

Лейфу было за что просить у неё прощения. Кайрен не знал за что — Лейф не рассказывал. Но он знал, как выглядит человек, который не может себе чего-то простить. Каждое утро он видел такого в полированной стали своего щита.

* * *

Сорок второе письмо пришло через три недели.

Гонец был не с юга, а с запада — грязный до пояса, с торфяной водой в сапогах. Он отдал сумку и сказал, что в Чёрной Гати была большая драка. Больше он ничего не знал.

Кайрен развернул письмо прямо во дворе, на ветру. Почерк был хуже обычного, строки шли вкривь — Хальдор писал, видно, при плохом свете. Или рукой, которой было больно.

«Чёрная Гать. Пришли в первую же ночь. Прямо к нам. Знали, куда. Выстояли. Она в первом ряду. Цела. Ругал. Не помогло. Ела дважды. Один раз — золото. Над Тали. Она не заметила. Я — да. Х.»

Край листа задымился у него в пальцах. Он не сразу это заметил — и не сразу смог остановить.

«Пришли в первую же ночь. Знали, куда».

Приказ с печатью дворцовой канцелярии. Той самой канцелярии, куда летают королевские голуби. Мардок всё это время сидел в башне и ждал его возвращения — значит, нить вела не к Мардоку. Или не только к нему. Кто-то в белой столице прочитал приказ о выпуске раньше Стейна и передал дальше — туда, где её ждали.

Огонь поднялся в нём — тот, тёмный, который он держал ровно, как держат угли в горне. Кайрен закрыл глаза и заставил его опуститься. Потом. Сначала — дочитать.

«Она в первом ряду». Конечно. Где же ещё.

«Ругал. Не помогло». Из груди вырвался короткий выдох — почти смешок. Почти.

«Один раз — золото».

Он прочитал это раз. Потом ещё. Потом ещё — посреди двора, на ветру, пока солдаты обходили генерала стороной, а ресницы у него не начали леденеть.

Два года — сталь. В каждом письме, где Хальдор писал о свете, была сталь. Сталь на столбе, сталь на Закалке, сталь, которая режет. А теперь — золото. Один раз. Над Тали. Не для того, чтобы убить. Для того, чтобы защитить. Она даже не заметила.

Значит, оно там. Не погасло. Заперто глубоко-глубоко, под сталью, под ненавистью, под всем, чем она стала, — но живо. То самое золото, которое когда-то горело у брода.

Губы у него дрогнули — непривычно, почти больно, как затёкшая рука, в которую возвращается кровь.

На галерее над двором стояла Изольда. Она увидела, что он улыбнулся, — он понял это по тому, как она отвернулась: медленно, очень ровно, как отворачиваются от огня, который греет не тебя.

Кайрен сложил письмо по сгибам и убрал в кошель, к остальным. Сорок второе. Застегнул медную застёжку и на мгновение задержал на ней ладонь — так держат ладонь на ране, которую не дают перевязать.

Золото, подумал он.

И впервые за два года на Высоком перевале ему было тепло.

Глава 2
Золото в чёрной воде

Мёртвые приходили каждую ночь.

Не толпой, как тогда, а по одному, по двое. Они выходили из тумана за час до полуночи — мокрые, с тиной в волосах, в истлевших рубахах тех деревень, которые мы видели по дороге сожжёнными, — и шли к частоколу медленно, как идут домой из дальнего пути. И звали. Каждый — кого-то своего. «Грета…» «Сынок…» «Открой, это я…»

Солдаты Стейна жгли их на берегу смолой и не смотрели им в лица. В Чёрной Гати они научились этому лучше, чем чему-либо другому. Только однажды пожилой копейщик с седыми усами опустил факел и постоял, глядя на женщину в расшитом переднике, которая тянула к нему руки и просила пить. Потом всё-таки бросил. А утром попросился на северную стену и больше на берег не ставился.

На шестую ночь они стали звать меня.

Не по имени — имени моего здесь никто не знал. Они тянули из тумана, распевая на три ноты, как дети дразнятся через забор: «Се-ре-бря-на-я… Се-ре-бря-на-я…» И слышно было, что голоса у них чужие — не свои, взятые взаймы, как рубахи с чужого плеча. Где-то там, в глубине топи, тот, кто их поднял, вкладывал им в рты слова.

Кованые из нашего выпуска старались не смотреть в мою сторону. Солдаты Стейна, наоборот, смотрели прямо — с тем тяжёлым, невесёлым уважением, с каким смотрят на человека, из-за которого всё это началось и без которого всё это уже бы кончилось. На двери нашей новой казармы кто-то из них вырезал ножом волчонка. Кривого, лопоухого, с оскаленной пастью — и с серебряной краской на макушке, которую бог знает где достали на болоте.

— Это ты, — сообщил Освин, разглядывая волчонка с видом знатока.

— У меня нет таких ушей.

— Это художественное преувеличение. А вот выражение морды — твоё. Схвачено очень точно. Эйла, скажи?

Эйла посмотрела на волчонка, потом на меня, и сказала своё единственное слово за день:

— Похож.

Тали фыркнула в кулак. Я прошла мимо. Но стирать волчонка не стала.

Ночами я стояла на новом частоколе над проломом — свежие брёвна, ещё белые на срезах, пахли смолой и не пахли смертью, и это было единственное место в Чёрной Гати, где можно было дышать. Стояла и слушала, как топь зовёт меня на три ноты. Когда мёртвый подходил на десять шагов, я спускалась и делала то, что нужно было сделать. Быстро. Не глядя в лицо. Потом поднималась обратно и вытирала клинок.

Я их не считала. Считала Руна — ей так было спокойнее.

* * *

На восьмой день Стейн позвал нас с Хальдором в башню.

Башня была единственным каменным строением в крепости, старой, ещё достенной кладки, и внутри неё было так же сыро, как снаружи, только темнее. На столе перед комендантом лежала растянутая и придавленная по углам камнями телячья шкура — карта, нарисованная углём и дёгтем, стёртая на сгибах до дыр.

— Вот мы. — Стейн ткнул обгорелым пальцем в крестик у самого края. — Вот гать, по которой вы приехали. А вот здесь… — палец уполз в самую середину бурого пятна, исчерченного короткими чёрточками травы, — Затонье.

— Деревня? — спросил Хальдор.

— Была. Село. Сто дворов, мельница на Чернице. Два года назад скаррады сломали плотину выше по реке, и болото пришло в село за одну ночь. Кто не утонул — тех забрали. — Стейн помолчал. — Теперь там их гнездо. Оттуда идут мёртвые. Там сидят те, кто их поднимает, — тощие, в лохмотьях, вы их видели. И туда же уводят живых. Из Ольховки, из Кривцов, из всех деревень, что вы видели по дороге. Тех, кого не сожгли.

— Зачем? — спросила я, хотя знала ответ.

Стейн посмотрел на меня своими безбровыми глазами.

— Иссушающим надо чем-то кормиться, — сказал он. — А тем, другим, надо кого-то поднимать. Живые долго хранятся, если держать их в клетке и иногда бросать туда рыбу. Я дважды посылал туда разведчиков. По четверо. Вторая четверка вернулась. Через месяц. Ночью. — Он не стал объяснять, какими они вернулись. Не нужно было. — Больше я туда никого не посылал.

Я смотрела на бурое пятно. На крошечные квадратики домов, которые кто-то когда-то тщательно нарисовал дёгтем.

Шесть ночей они звали меня оттуда.

— Значит, туда, — сказала я.

Стейн не ответил. Он смотрел не на меня, а на Хальдора. И, судя по тому, что не удивился, комендант позвал нас именно за этим — и именно этого и ждал.

Хальдор молчал долго. Плечо у него всё ещё было в повязке, и он держал руку чуть накось, берегучи, как держат не свою вещь.

— Тебя ищут живой, — сказал он наконец. — Ради тебя они привели сюда всё болото. А ты хочешь принести им себя сама. На блюде. С петрушкой.

— Они шесть ночей зовут меня по имени, — сказала я. — Невежливо так долго не отвечать.

У Стейна что-то дёрнулось в углу рта — там, где ожог стянул кожу. Хальдор даже не моргнул.

— А если они только этого и ждут?

— Тогда они дождутся. — Я подняла глаза от карты. — Хальдор. Там люди в клетках. Их кормят рыбой, чтобы они дольше не портились. А мы будем сидеть за частоколом и жечь их по одному, когда они придут к нам сами? И не смотреть в лица?

Он выдержал мой взгляд. Он всегда выдерживал. Когда-то он сам сказал мне на малом дворе, что моя ярость — это лучше, чем ничего. Теперь смотрел, что из этого выросло.

— Моих людей не дам, — сказал Стейн. — Мне держать стену.

— Нам не нужны ваши люди, комендант. Нам нужен один человек. Тот, кто знает гать.

Стейн и Хальдор переглянулись — два старых воина, которые за неделю успели стать не друзьями, но чем-то твёрдым и безымянным, что бывает между людьми, простоявшими ночь на одной стене.

— Есть один, — сказал комендант.

* * *

Его звали Бран, и он сидел у ворот.

Я видела его каждый день с тех пор, как мы приехали, и не замечала — так не замечают камень у дороги. Старик в торфяной куртке, пропахшей дымом насквозь, с лицом цвета морёного дуба. На левой руке у него не хватало двух пальцев. Он сидел на колоде у ворот с рассвета до темноты и смотрел на топь. Не на дорогу, по которой могла прийти помощь, а туда — в туман.

— Три месяца так сидит, — сказал Стейн, пока мы шли через двор. — С тех пор, как сожгли Ольховку. Торф резал всю жизнь, гати знает, как свою ладонь. Внучку его увели в Затонье. Сто раз просил меня дать ему людей. Я сто раз отказал.

Старик не поднял головы, когда мы остановились перед ним. Стейн сказал ему два слова — «Затонье» и «завтра», — и тогда он поднял. Глаза у него были светлые, водянистые, как у всех тут, и он переводил их с лица на лицо медленно, будто не верил. На мне остановились.

— Ты та, кого они зовут, — сказал он. Не спросил.

— Я.

Он пожевал губами.

— Гать знаю, — сказал он наконец. — Старую. Ту, что под водой, про неё и скаррады не знают. Веську заберёшь?

— Если жива — заберу.

— Жива, — сказал старик с такой спокойной уверенностью, с какой говорят о погоде. — Я бы почуял.

Я не верила в такие вещи. Раньше я сама была уверена, что почуяла бы, если бы… Я закрыла эту дверь, не дав ей открыться до конца, и кивнула.

Хальдор вздохнул у меня за спиной — тяжело, как вздыхает человек, который проиграл спор ещё до того, как его начал.

— Первым идёт он, — сказал он, кивнув на Брана. — Потом я.

— Потом я, — сказала я. — А ты — слева.

Он что-то пробормотал в бороду. Кажется, там было слово «порода».

* * *

Десяток я не спрашивала. Я сказала вечером, куда иду, и добавила, что никого не зову.

Сигрид даже не подняла головы от точильного камня.

— Наконец-то, — сказала она. — Я уже думала, мы так и будем до весны жечь чужих бабушек на берегу.

— Сколько платят за вылазку в болото? — деловито поинтересовался Освин.

— Нисколько.

— Тогда я иду из принципа. Чтобы потом выставить короне счёт сразу за всё. С процентами.

Гуннар молча положил на мой тюфяк пару сухих шерстяных носков — синих, вторая пара из тех, что он привёз из Утёса, — и так посмотрел, что я поняла: если не возьму, он пойдёт за мной и будет нести их в руке до самого Затонья. Нико уже складывал в мешок сыр, про который никто не спрашивал. Аларик пересчитывал иглы. Финн лежал лицом в потолок и тихо сказал, что нити в сторону топи выглядят как кисель и что он заранее просит прощения. Руна вышла посчитать ворон, вернулась мрачная, сказала «нечётное» — и стала перетягивать тетиву.

А Тали просто села рядом со мной и привалилась плечом.

— Я никого не звала, — повторила я.

— А мы и не пришли, — сказала Тали. — Мы тут живём.

Ночью я снова стояла на частоколе. Топь тянула своё на три ноты, далеко и сонно: «Се-ре-бря-на-я…»

— Иду, — сказала я туману.

И туман замолчал — будто услышал.

* * *

Вышли в час волка, когда мёртвые уже брели к крепости.

Это придумал Бран. «Когда они своих утопленников к вам погонят, тогда и пойдём, — сказал он, глядя в сторону. — Гнездо пустое будет. Ну. Пустее». Стейн посмотрел на старика так, будто три месяца проходил мимо закопанного клада.

Нас было двенадцать. Десяток, Хальдор и старик с шестом. Без факелов, без щитов, без всего, что блестит и звенит. Руна сняла свои обереги и стала внезапно тихой и маленькой, как ощипанная сорока. Лица мы вымазали торфяной сажей, а мне Тали вдобавок замотала волосы чёрной тряпкой — серебро в темноте видно издалека.

— Теперь я красивее Освина, — шёпотом сообщил Нико, разглядывая своё отражение в луже.

— Ты и раньше был, — сказал Гуннар. Это было так неожиданно, что даже Освин не нашёлся с ответом.

За воротами Бран сразу свернул с дороги — в кочки, в туман, прямо в то, что на карте Стейна было исчерчено чёрточками и означало «не ходить». Шагов через сто земля кончилась. Дальше была вода.

Старая гать лежала под ней на глубине колена, а где-то и по пояс. Бран нащупывал её шестом, вслепую, и что-то бормотал себе под нос. Я шла второй и не сразу разобрала, что он считает — брёвна. «Сорок одно… сорок два… тут нету, шагай шире… сорок четыре…» Он сам укладывал их когда-то, сорок лет назад, и помнил каждое по счёту, как помнят детей.

Вода была холодная до ломоты в зубах. Чёрная и густая, она не плескала, а расступалась неохотно и смыкалась за спиной без звука. Со дна поднимались пузыри и лопались на поверхности, и каждый раз пахло так, что Аларик за моей спиной страдальчески дышал в рукав.

Тали соскользнула с бревна на третьей сотне и ушла по горло. Гуннар вытащил её за шиворот одной рукой, как котёнка, молча посадил на плечи и пошёл дальше.

— Я не просила, — прошипела Тали сверху.

— Знаю, — сказал Гуннар.

На пятой сотне Освин обнаружил на себе пиявок. Обнаружил по-своему: не закричал, а стал подсчитывать.

— Шесть, — сообщил он трагическим шёпотом. — Шесть заёмщиков. Без расписки, без залога, под такие проценты, что в любом участке за такое вешают…

— По уставу лазаретной службы, — не удержался Аларик, — пиявки очищают кровь от…

— От здравого смысла они её очищают. Я чувствую, как он уходит.

— Тихо, — сказал Хальдор, и стало тихо.

Где-то слева зажёгся огонёк. Маленький, зеленоватый, он повисел над водой и поплыл рядом с нами, не отставая. Потом второй. Третий. Их свет ничего не освещал — ни воды, ни тумана, ни нас.

— Не глядите на них, — не оборачиваясь, сказал Бран. — Это не вы на них глядите. Это они на вас.

Я не стала глядеть. А Финн стал — не на огоньки, своим другим зрением, тем, что видит нити. Секунду спустя он схватил меня за рукав, и пальцы у него были как лёд.

— Мирэль, — шепнул он. — Я ничего не вижу. Здесь всё вязнет. Нити тянутся, как смола, и рвутся через два шага. Если что-то пойдёт на нас, я узнаю об этом тогда же, когда и вы. Может, позже.

С первого дня в Утёсе Финн ни разу не говорил мне «не вижу». Десяток держался на его сети, как мост на канатах. Теперь канатов не было.

— Значит, смотрим глазами, — сказала я. — Как все люди.

Финн кивнул. Потом оглянулся — туда, где позади всех, без своих оберегов, тихая и маленькая, шла Руна, — и смотрел на неё чуть дольше, чем нужно.

— Её я и до болота видел плохо, — пробормотал он себе под нос, так тихо, что я не была уверена, что расслышала правильно.

Я решила, что ослышалась. В болоте всё звучит не так. Да и заботы у меня в тот миг были поважнее.

Сигрид шла позади Финна и держала руки сжатыми в кулаки. Сегодня ей нельзя было жечь — одна искра в этой темноте стала бы колоколом на всю топь, — и огонь, которому не дали выйти, стоял в ней, как стоит крик в горле. От неё шло тепло. Эйла, синяя от холода, держалась за её ремень обеими руками.

А потом Эйла остановилась.

Она смотрела вниз, в воду, и не двигалась. Сигрид дёрнула её раз, другой — бесполезно. Я вернулась к ним по брёвнам.

— Лица, — сказала Эйла. Два слова за день — у неё это было всё равно что крик. — Там. Лица.

Я посмотрела вниз.

Туман над водой в этом месте расступился, и в сером предрассветном свете чёрная вода оказалась вовсе не чёрной. Она была прозрачной, как стекло в старой раме. А под ней, на дне, как на полу огромной затопленной горницы, лежали люди.

Рядами. Лицом вверх. С открытыми глазами.

Мужчины в рабочих рубахах, женщины в платках, старик, девушка с косой, разметавшейся по илу, как водоросль. Они лежали так ровно, будто их укладывали по счёту, как Бран укладывал свои брёвна. И все смотрели вверх — на нас. Не двигаясь. Не дыша. Ожидая.

Запас, — поняла я. Их просто ещё не позвали.

В третьем ряду, совсем рядом с бревном, на котором я стояла, лежал мальчик. Лет пяти. В рубашке, длинной ему до колен, и с деревянным коньком, зажатым в кулаке.

Подо льдом что-то ударило так, что я чуть не согнулась. Один раз — тяжело, глухо, как рыба бьётся спиной о замёрзшую реку.

Я дождалась, пока лёд выдержит. Потом взяла Эйлу за подбородок — мягко, как берут ребёнка, — и подняла её лицо вверх, к туману.

— Не смотри вниз, — сказала я. — Смотри мне в спину. Только в спину. Мы за них заплатим. Потом.

Хальдор сзади начал считать — тихо, вполголоса, не мне и не себе, а всем сразу: «Вдох. Выдох. Шаг. Вдох…» И десяток пошёл под этот счёт над полем утопленных, как когда-то ходил под него по плацу Утёса.

Больше никто не шутил. Даже Освин.

*** * ***

Один из них всё-таки поднялся.

Не из рядов — откуда-то сбоку, из камыша: отставший, заблудившийся, из тех, кого ночью погнали к крепости. Он вырос из воды в трёх шагах от Брана — без всплеска, как вырастает тень, — и открыл рот, чтобы протянуть своё трёхнотное.

Не успел. Я была уже рядом. Рука — на рот, клинок — под челюсть, вверх, до упора. Он осел обратно в воду так же беззвучно, как поднялся, и я держала его под водой, пока он не перестал дёргаться. Мёртвые не дышат, но то, что их двигает, уходит не сразу.

Когда я выпрямилась, Бран смотрел на меня своими водянистыми глазами. Он даже не успел поднять шест.

— Считай дальше, — сказала я.

Он кивнул и пошёл. «Триста двадцать… триста двадцать одно…»

Холода я больше не чувствовала. Внутри горело ровно и сухо, как угли в горне, и я знала, что это за огонь. Ряды лиц на дне. Мальчик с коньком. Шесть ночей песенки на три ноты. Всё это ложилось в меня, как дрова, и горело, и грело лучше любого плаща. Ненависть — хорошее топливо. Её всегда много, и она никогда не сгорает до конца.

Туман впереди посерел. Навстречу потянуло дымом — не торфяным, другим, сладковатым, тем, от которого Аларик согнулся пополам. И издалека, словно из-под воды, донёсся низкий заунывный гул — не то песня, не то стон, одно и то же слово, повторённое сотни раз на сотни голосов: «Встань… встань… встань…»

Бран остановился и поднял свою трёхпалую руку.

Из тумана проступила колокольня. Она стояла по пояс в воде, чёрная, кривая, с провалившейся крышей, и в проёме, где когда-то висел колокол, медленно покачивалось что-то длинное на верёвке. Вокруг неё из воды торчали крыши домов — соломенные, обвисшие, поросшие мхом, как спины утонувших зверей. А на сухих торфяных островках между крышами тлели костры, и в их буром свете двигались длинные тени.

— Вон, — шепнул Бран. — Под колокольней. Клети.

* * *

Мы лежали в камыше на краю старого гумна и смотрели.

Клетей было четыре. Плетённые из ивняка, как верши для рыбы, только в рост человека, они стояли на торфяном островке под самой колокольней, и в каждой сидели люди. Не сидели — лежали, вплотную друг к другу, как дрова в поленнице. В крайней кто-то тихо напевал, и по голосу это был ребёнок. Слов я не разобрала. Только мелодию — простую, на четыре звука, какие поют совсем маленьким, чтобы не плакали.

Бран рядом со мной перестал дышать.

— Веська, — сказал он беззвучно, одними губами. — Это её песня. Я ей пел.

Я положила руку ему на плечо и прижала к земле. Не сейчас.

Скаррадов было меньше, чем я боялась, и больше, чем хотелась бы. Десятка полтора у костров — в чёрных пластинах, с тесаками. Двое высоких, серых, с длинными голыми руками — иссушающие, один сидел на корточках у клетей и смотрел сквозь прутья, как смотрят на садок с рыбой. А на колокольне и на двух ближних крышах стояли три тощие фигуры в лохмотьях, раскачивались и тянули своё «встань» — туда, к крепости, вслед тем, кого уже отправили.

Я расставила их шёпотом. Руна — на крышу крайнего дома, оттуда видно всех троих певцов. Сигрид, Гуннар и Нико — слева, по затопленному плетню. Тали и Освин — справа. Аларик, Эйла, Финн и Бран — к клетям, как только начнётся. Резать прутья, выводить людей на старую гать и не оглядываться.

— А ты? — спросила Тали.

— А я выйду поздороваться.

Хальдор ничего не сказал. Он просто передвинул меч так, чтобы доставать его левой, здоровой рукой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.